

## ВЕДЬМА

(УКРАИНСКАЯ СКАЗКА)

Жил-был где-то на Украине, в тихом долочку, в своем до-мочку, в селе большом и богатом, не хуже самой Решетиллов-ки, парень-друга, казак проворный, моторный, жартовливый и работающий; все девчата, бывало, из-под локтя, мимоходом смеючись, на него залицаются; нет без него вечерницы, нет радости на улице, нет и веселья, гульбы на свадьбах; но и работа мало у кого спорилась супротив нашего казака: быва-ло, что ни занесет косу, то полкопны наворотит; а раз, помню, стал он москалей, русских, дразнить, как они молотят цепом справа налево, да еще и через руку, пошалил, говорю, с пол-годинки, да копну и вымолотил, шестьдесят снопов! да!

Вот и стали отцы да матери подсылать к нему людей, по-говорить с ним: так куда! и слышать не хочет; а бывало, как станут ему говорить: «Слышно, казаче, что ты ручники по-брал», т. е. посватался и сговорился — так он в ответ, насунув шапку смушковую на левое ухо: «Брехаты не цепом махаты: брехнею свит пройдешь, та назад, кажутъ, не вернешься», или: «Брехалы твого батька сыны, то и ты з нумы». А как ему на это: «Да мы слышали, казаче, от людей», так он в ответ, мах-нув рукой: «Абы булы побрязкачи, будуть и послухачи. На здоровье!»

Однако же, долго ли, нет ли вередовал казак наш таким образом, нашел и он свою зозуленьку, кукушечку: на вечерни-цах с нею, по улицам за нею; в коршуна ли, в горелки, в гу-ся — где она, там и он; с нею только и женихался и гадал и жартовал; а бывало, где поймает ее, то уже так притовкмачит, что три дня синятины стоят.

«Ладно! — подумали люди, — придет Аннино зачатие, 9 де-кабря, так увидим, что увидим. Господи благослови стару бабу на постолы, а молоду на кожаниц!»

«Ладно! — ворчали девчата, — он еще оглянется, да очнет-ся, коли с этою поведется. Ангельский голосок, да чертова

думка!» — «Вродыла мама, що не прыйма и яма,— говорили другие девчата,— с этого веселья каково-то будет похмелье; а ей давно место там, где козам рога правят. Это штука!»

Между тем люди говорили, толковали, а казак себе на уме: «Светил бы мне ясный месяц,— думал он,— а звездочки как себе хотят. На людей не угодишь».

Вот пришла и осень, пришли обе пятенки — 14 и 28 октября: пришло и пущенье, заговенье; идет филипповка. Лишь только наступило Аннино зачатие, как начали старосты сновать по селу, а к ночи опять домой — кто с ручниками, высватав парню девку, гордо и медленно выступал посреди улицы; а кто с гарбузом, с отказом, крадучись под тыном. Девчата, собравшись в свой кружок, рассказывают, что Гапка, Стеха, Устя просватаны... А за кого? Одна — за Хому Кожуха, другая — за Козулю, третья — за Власа Непейпива... А тут глядь и казак наш побрал ручники, да только совсем не от той девки, с которою женихался, которую товкмачил, а от совсем другой, от бедной, убогой, только что личиком беленька, бровями черненька, а то хоть к старцам, к нищим, идти, то в ту ж пору.

Я сказал уже, что дело было на Украине: пусть же не пеняют на меня, что сказка моя пестра украинскими речами. Сказку эту прислал мне тоже казак: Грицько Основьяненко, коли знавали его. А что из песни, что из сказки слово не выкидывается, а выкинешь слово, не наверстаешь и тремя. Это правда истинная, пусть толкуют об этом сколько угодно, но пусть не спорят; а что какой-нибудь дикобраз будет за это ломаться и бодриться, мов шкурат на огне, так мне, с позволения сказать, с ним не детей крестить: вольно жиду свинины цураться, а бусурманину с вином не знаться; люди и пьют и едят, а жид да турок по мне хоть сгинь, хоть высохни!

Итак, дело было на Украине, то есть не то в Полтавской, не то в Черниговской: потому что киевских да харьковских украинцы не очень признают своими; а нашего брата, херсонского да екатеринославского, так уже и в грош не ставят. Ну, даром, я таки придерусь где-нибудь к месту, что хмель к тыну, да отстою своих, а теперь стану сказывать сказку свою. Надо сказать еще, как ведьма испортила было Ивасю да увела его, а Ивася посадил ее в печь — словом, осталось еще досказать много.

Итак, казак наш откинулся от дивчины, с которою было женихался: покинутая дивчина ослабилась; проходит год, и другой, и третий — никто ее не берет, и дожила она до седой косы. Дело в том, что мать этой девки была отъявленная ведьма и что казак наш сам видел, как она, перемахнув чрез тын, в одной рубахе, с распущенными волосами, доила коров на чужом дворе. После этого, кажется, и толковать нечего, и казаку нашему родниться с ведьмою не приходилось. Он

плюнул да и отошел: «Упырь с нею, с католичкою, связывайся, а не я!»

И не прошло году, как ведьма стала учить дочь свою своему нечестивому чаклованью, колдовству; травы с нею собирала, коренья сушила, зелье готовила, кошачьей кровью приправляла; а как умерла, так и передала всю науку свою и ненависть к казаку нашему дочери, которая, слетав на Лысую гору, под Киев, стала ведьмою сполна, как, сами знаете, ведьмы бывают: и с хвостиком, и с чертовой думкой, и со всеми сатанинскими пакощами.

А вот я уж к одному месту и придрался: не хотите вы, украинцы, признавать киевлян своими, а зачем же ведьмы ваши на поставление летают под самый Киев, на Лысую гору? Что, не правда моя? С москалями и с русскими чертями они, ведьмы, известное дело, не знают; так к кому же они туда летают? Стало быть, киевляне вам свои.

Дочь перехитрила и перещеголяла в чаклованье мать; а зла, что не приведи господь! И что она выгадывала да выкидывала бедному человеку и жене его — так к ночи страшно и рассказывать. Он выстроит себе хату, избу, хозяйюшка вымажет ее беленько, а обводы обведет желтые: а ведьма заберется туда первая, подымет стук, шум, крик, галас, реготню, выживет-таки бедняка; и все люди крещеные хату далеко обходят, а пуще ночью. Он поставит битую печь, грубку и дымволок на резных грабовых ножках: ведьма влезет в нее, раздует ее, разопрет; строй и клади снова! Он выстроит избу-другую, освятит и окрепит место и только что покроет ее гладенько соломою, ведьма-бестия таки среди белого дня вихрем налетит, солону взобьет, повысмыкает, латвины потрошит, кроквы поваляет — ну таки дня не пропустит без пакости! Хозяйка обзаведется коровкой, овцами: ведьма аспидская ночью их выдоит, хоть брось; и молока не дают, да и мясо грешно есть после нечестивых ведьминых рук. В поле хлебец поспеет: ведьма со всего света поскликает товариство свое, пляску такую подымут на ниве, что вытопчут все, хуже, чем барская псовая охота. Мужик плачет, да и полно. Этого мало: бог благословит чету, обещает им родительской радости; а она, ведьма, анафемская вера, ночью и выкрадет у матери нерожденное дитя, и нырнула с ним в трубу, и была такова; а сама, окаянная, а у самое — отколь ни взялась дочь Оленка: говорит, что подкинули, а чего, чай, на Лысой горе с упырем перенчалась!

Бедный казак наш через эту бесову ведьму обнищал было совсем; молитвой не отмолятся, крестом не открестится — хоть удавись, хоть утопись. Но вот, бог не без милости, казак не без счастья: ведьма наша отправилась на свадьбу какой-то знаменитой ведьмы и, как невенчанная девка, ходила в дружках; а как привела еще байстра, то и бегала с приданками,

с обеда на обед, из Киева на Карпаты, оттоле в Конотоп, там на Кавказ, да к свату в Сибирь, да к поселенным хохлам в Кардаиловку, за Урал-реку, да к старшему боярину в Бердичев, да этак пробегала, протаскалася год со днем; а у нашего мужичка, у казака, родился между тем сынок, Ивашко; да такой гарненький, что хоть сейчас его, пришив крылышки, на вербочку! Ведьма, воротившись домой да наведавшись через трубу к казаку — а уже известно, что ведьма дверей растворить не потрудится — как наведалася да узнала, что прогуляла, так со злости и зубами скреготала, и по-собачьи скавучала, и по-волчьи выла — да ба! ничего не могла сделать. Известно, что дитя до семи лет есть младенец, как ангел святой, и уже никакая ведьма не властна над ним, ниже над татую и ненькою его, над отцом и матерью, ни даже над худобою их, над добром и животинкою. Ведьма решила терпеть семь лет, а там уже во что бы ни стало отмстить за все вдвое. Дьявольское отродье дьявольское и думает и гадает.

Казак наш с хозяйкою своею забыли между тем про лиху беду минувшую: баба пряла, ткала, выткала не зная сколько плахт да запасок, красила сама вовну, шерсть, — а работяща была и она, — да выткала с десятков ковров узорчатых, цветистых, с петушками, да с квичочками, с цветками. А мужик пшеницу-арнаутку сеял, собирал да отправлял в Одессу, где заморские купцы, у которых либо денег до черта, либо натура прожорливая, платят 25 и 30 и 40 рублей за четверть; первый год чумаковал он сам, а там уже стал посылать батрака, а там отправлять целые обозы — и разжился с легкой руки; обзавелся и курочкой, и уточкой, и гуской, и посудинкой в доме, и всякими овощами на огороде, а в саду водились и сливы, и груши, и яблоки, а в каморе стояла и вишневка, и терновка, и сливянка для добрых приятелей — а что за роскошь, за раздолье эта сливянка да вишневка: что твое французское!

А видал ли кто из вас еще, как это люди чумакуют? Завидная жизнь, раздолье, приволье, своя рука владыка; а простору-то, простору — господи боже мой! Только беда, как бисовы москали верстовых столбов по шляхам, по дорогам, наставят: того гляди заденешь и проехать негде; беда чумаку в этой тесноте!

Однако, поколе мы тут баяндрысим, Ивашко подрастал год за год, день за день, и уже тут ли, там ли помогал отцу да матери по господарству, по хозяйству. Его дело было выпустить свиней из загоры на паству; его дело переличить, пересчитать, да пригнать домой уточек, а тут, глядишь, он же, сев в каючок, в челночок, перегонял гусей на тот берег речки, пас их там, удил рыбку, собирал ягодки, какие в какую пору родятся: земляничку, костянику, малину, а там и калину, а там, как уже утренники стали подергивать инеем листки, и терн. А добрая ягодка, коли кто едал, и терн, когда ее мороз

прохватил: кисленька, правда, ну да от нее недворянский язык не покоробит. А мать Ивашкина, наварив обедать, выходила на реку и призывала его:

Ивашку, мій синочку!  
Прибуди, прибуди, голубчику;  
Се тебе мати кличе,  
От тобі їсти несе —  
На срібних мисочках,  
На золотих тарілочках.

Ивашко, по голосу неньки, матери своей, садился в челн, греб потихоньку к берегу и припевал в ответ:

Човне, човне, швидше,  
Човне, човне, ближче!  
То мене мати кличе,  
То мені їсти несе —  
На срібних мисочках,  
На золотих тарілочках.

Челн приплывал к берегу, Ивашко ел, что ему мать приносила, борщу ли с бураками, каши ли с салом, вареников ли; а мать возьмет его, вычешет, вымоет, а в неделю, в воскресенье, принесет ему чистую сорочку — и Ивашко опять отправляется на тот берег, в луга пасти гусей своих и присматривать, чтобы коршун либо хорек не перетаскали гусенят; а под вечер, взмахнув долгою лозою и закричав на отряд свой: «Гиль, тега, гиль додому! гиль додому!», выгонял их на плесу, пускался за ними в челне своем, пригонял их домой, сдавал матери счетом, а поужинавши и помолившись — а уже он знал «Отче наш» до: «хлеб наш насущный», — ложился с богом спать.

Ведьма, сидя на бережку под кусточком, чего бы тут не сделала со злости! А у нее и есть, правда, шелудивая девчонка, Оленка, так я же говорю, что поганая: вся в коросте; а как глупа — так не накажи бог ни наших, ни ваших! Дура зеленая такая, что, бывало, скажи что хочешь ей, вылупит очи и смотрит, как сыченок; поколе не дашь ей тумака, так не слышит, не видит; даже поганому чаклованью не могла научиться. Ведьма наша со злости и зубами скреготала, и собакою скавучала, и волком выла — да ба! дитя до семи лет младенец, как ангел святой: нет ведьме над ним власти, ни над татою его, ни над мамою, ниже над всею их худобою. Стала ведьма выжидать, когда минет Ивашке семь лет. А разве и долго ждать? Да вот, куда мы с вами разговариваем, так время и ушло: Ивашке минуло семь, пошел осьмой годочек, и ведьма приступила погубить его во что бы ни стало; подслушала и вытвердила песенку, которою мать прикликала его день за день.

Раз что-то долго не ладилось у матери в печи, борщ не укипал — может статься и ведьма подпустила порчу такую; уж и пора бы матери звать Ивашка к обеду — нейдет. Ведьма подошла к берегу и запела резким, сиповатым, толстым голосом:

Ивашку, синочку,  
Прибуди, прибуди, голубчику...

Ивашко, как ни мал он еще был, тотчас узнал, что это не нянькин голос, плавный, чистый, тоненький, а потому и стал грестись от берега, напевая:

Човне, човне, швидше,  
Човне, човне, далі!  
То мене відьма кличе,  
Вона мене з'їсти хоче,  
З рученьками, з ноженьками,  
З косточками, з кишечками.

Ведьма, поймав облизня, спряталась еще раз в кустах, выждала мать Ивашкину, подслушала еще раз хорошенько песенку и голос ее и подумала: «Постой, голос у меня толстенький; этому можно пособить». Ведьма пришла к ковалю, к кузнецу, и сказала: «Ковалю, ковалю, скуй мне такой тоненький голосок, как у Ивашкиной матери!» Ну как ковалю не послушаться ведьмы? Она ему, чай, не раз и не два еще пригодится и понадобится. Он разложил углей, раздул, ухватил ведьмин голос клещами, раскалил его, как жар красный, и стал отрабатывать молотом: тук да стук, стук да тук — а скалки, искры, так и сыплются. Коваль выковывал, потягивал, перетягивал и выправлял ведьмин голос: «А ну, попытайся!» — Ведьма прикинула голос: «Ах, собака, перетонил! возьми наварил». Коваль взял мартялу, раскалил, отрубил, наварил: «А ну, тетка; попытайся теперя!» — Ведьма встала, спела песенку: «Он бы и хорош, да дрожит, дребезжит, как у нашего пономаря с перепоею». Опять поправлять, направлять — как раз потрафил, ну, сама мать Ивашкина не отличит от своего голоса. «Спасибо, сынку!» — молвила ведьма — и была такова; только и видел ее коваль. А что кошту потрачено: уголья, угару на клещах, мартялу! а работа, а время? все ни во что.

Ждет ведьма не дождется утра — а уже опять черт выносил ее по всем всюдам — а с утра вышла на берег, ждет, скоро ли солнышко подыметься в рост выше хаты, а это было время обеда. «Погоди, — думает она, — уж разве свет совсем догоры ногами пошел, а то не миновать тебе моих рук». И вот запела:

Ивашку, мій синочку,  
Прибуди, прибуди, голубчику...

Тот же голос, тот же напев и те же приемы, переливы! бедный малютка обманулся и отвечал:

Човне, човне, ближче,  
Човне, човне, швидше!  
То мене мати кличе,  
То мені їсти несе...

Только что Ивашко наш пристал к берегу, как ведьма, кинувшись на него, хап-цап его, схватила, потащила и пискнуть не дала: ротик зажала ему, чуть не удушила. Пропал мой Ивашко ни за цапову душу! упал с ясени листок за то, что вихорь набежал! А мать Ивашкина вышла тем часом со стравою, со снedyю, на бережок; уж она пела, пела, прикликаючи Ивашка; онять походит и опять запоет, и гукает его на весь голос со страхом и боязнию, уже сама плачет, сама поет — нет Ивашки! Выспевавши и выгукавши весь голос, пришла она в слезах домой, и горя, как сизая горлинка, она рассказала мужу, что Ивашки нет, что его, верно, извела ведьма; а выплакавши все слезы, принялась печь да стряпать пироги, кныши, блинцы, буханцы... как быть! надо было помянуть Ивашка, как долг христианский велит. Известное дело, на поминках этих кусочек съешь, а слезою запьешь — ну, да делать нечего: человек не собака, чтобы ему сгинуть без поминок!

А ведьма, поймавши Ивашка, принесла его домой, не зная куда, призвала Оленку и приказала: «Возьми этого белого, курчавенького баранчика, обмой его, вымой, головку ему вычеси, прибери, опатрай и сжарь; а я меж тем сбегаяю в Конотоп, до дядины: просила, чтоб пришла поськатыся». А близкий свет от них, думаешь, Конотоп? Да полтора ста верст сгоном, на добрых конях, а на плохих, мужицких, будет и боле. Ну, нужды мало; уж не впервые ведьме нашей шмыгать туда-сюда, как сказывали мы уже давеча: из Киева на Карпаты, к руснакам, побратимцам украинским; оттоле под самый Каменец, там в Черкассы, да, чего доброго, еще и на Кавказ, а обратным путем и в Бахмут, потому что и там живут не католики, а крещеные казаки, хоть полтавцы да черниговцы и не признают их земляками. А впрочем, я думаю, что херсонцы да екатеринославцы правду говорят — да они же никогда и не брехали — что в Полтавской да в Черниговской мало осталось чистых, настоящих украинцев: они вышли, было тому время, на Кубань да на Буг, в Херсонскую, в Екатеринославскую; они-то были родовитые запорожцы; сколько было у них дедов, столько было и оселедцев, чубов; а нынешние полтавцы да черниговцы — это все уже обмоскалилось, все переводня.

Оленка сделала, что мать наказывала: затопила печь, вымыла, обмыла, Ивашка, вычесала, опатрала его как следует на жаркое; а как печь истопилась, вымела ее помелом, на

котором матушка ее родная пускается подчас в поход, и говорит Ивашке: «Садись на лопату!» — «Не вмию», — говорит Ивашка. «Ну, клади руку!» — «Не вмию». — «Клади ногу!» — «Не вмию». — «Да садись же весь». — «Да не вмию, и только; покажи сама, как сесть, так и сяду». — «Садись, как умеешь», — говорила Оленка. Ивашко взял да и развалился поперек лопаты. Оленка стала его сажать в печь — не лезет. «Да садись же, я говорю, хорошенько!» — «Да я ж говорю тебе, что не умею; покажи как сесть, так я сяду». — Оленка, не долго думав, плюсь сдуру на лопату! А Ивашко, ухватив лопату, шарасть ее, шелудивую девчонку, в печь, ухватил заслонку, приставил, ухватом припер, чтоб еще не вылезла, а сам в двери, выбежал в садок ведьмин и влез на топольку, сел в самую маковку и оглядывается кругом — не видать и родины его; завезла его ведьма анафемская за пятьсот верст от родимой сторонки!

А ведьма, погостивши у дядины в Конотопе и побеседовавши с нею, пришла домой. Смотрит: хата отперта, а никого нет; только собака навстречу ей из дверей выскочила да чуть с ног ее не сбила. «Геть, до супостата!» — закричала на нее ведьма; а там принялась бранить и Оленку. «Поганая девка! вот уж опять убежала куда-нибудь байдаки бить, а хату покинула, как будто мы между святыми живем, что некому чего украсть! Так нет, ничем ее не уймешь, не надоумишь; ты ей зась, она тебе ась! плюнь да и отойди. Погоди, вот я ее! Не съела ли еще собака моего жаркова, или, может, не позабыла ли Оленка его изготовить, не упустила ли еще, чего доброго, проклятого Ивашка?» Сама кинулась в печь — нет, все цело! А как избегалася, утомилася, уморилася порядком, то и принялась, недолго думав, немного разбирая, за расправу; да вот, покуда я говорю, а вы, слушаете ли, не слушаете, а по крайности тут сидите да стоите, ведьма съела жаркое все дотла, и косточки обсосала, и пальцы обсмоктала.

Наевшись порядком, вышла она в сад отдохнуть, легла под ту топольку, где сидел Ивашко, стала против солнышка кататься, а сама, заливаясь, приговаривает: «Покачуся, повалюся, Ивашкиного мяса наевшись!» А Ивашка, подслушав ее, начал ее переговаривать: «Покатися, повалися, Оленкиного мяса наевшись!» Ведьма смотрит, дивится — никого не видит; обнюхивает все, подняв морду по ветру — никого не слышать. А ведьмы, сами знаете, чутьем слышат не хуже хортов панских, охотничьих собак, да только по ветру; а против ветру, коли от чутья относит, так же мало чувят, как и мы, грешные. Опять ведьма покатится и скажет свою поговорку, опять Ивашка ее передразнит, и опять она глядит и нюхает и никого не находит. Может, наевшись мяса этой дуры, пошлой Оленки, и сама одурела, а то бы ей давно догадаться да глянуть вверх: насилу-то пыку, морду свою, подняла догоры!

нюх, нюх, нюх... и учула Ивашка на дереве! Тут ведьма сперва начала на бедного Ивашка совиные очи свои пялить, да снова обнюхивать, да снова вглядываться; а там, как разнюхала да обглядела, что он, справду он, то и засыпала его таки за один дух паскуднейшею бранью, какую где только кто слышал; я ж говорю, что ей-же-ей, право, иной москаль бы перекрестился от этакого сорому! «Пооди сюда, сякой-такой!» — «Не пойду, — говорит Ивашко, — сама съешь!» — «Слезай, говорю!» — «Не слезу!» — «Я же тебя, погоди, достану, коли ты не сам сатана-летучка!»

И стала ведьма, припавши, грызть зубом дерево; грызет, грызет, а сама кошкой мурлычет, у самой щепы только под зубами хрустит. Ивашко сложил руки, ну читать «Отче наш», сколько его знал и помнил; хрус! зуб у ведьмы, клык один уломился, и чуть она им не подавилась. И то сказать, тополька была старая, нетонкая, и таки тверденька; а у ведьмы, у старой чертовки, клыки приелись. Как тут быть? Опять к приятелю, до коваля. «Ковалю, ковалю, вот тебе костяной зуб, а мне скуй железный!» Коваль взял ведьму в станок, где куют коней. «Это, — говорит, — не голос править; это работа костоломная, тяжелая, потовая». — Итак, в станок ведьму, подтянул ее на подпруги, рот ей раззявил, выковырнул молотком да чеканом остаток старого клыка, сковал другой, железный зуб, закалил, загнал молотком ей в десна, в скулу, да еще посадил его на шип, подпилит, наострил, отпустил подпруги, — и выскочила ведьма из станка, что брыкливая кобыла послековки — только мы ее тут и видели!

Ну, счастлив твой батька, ковалю, что люди не видали, каким ты досужеством занимаешься! А еще крещеный человек, прости господи, а на селе сльвешь и православным! К черту на ремешки пойдешь ты, на сыромятные; я тебе говорю, сам сатана постолы из тебя, не сымая шкуры, станет выкраивать; все бесы из тебя жилы потянут, из окаянного — вот тебе что, бусурман католицкий.

А ведьма наша, прибежав домой, ну опять грызть да грызть под Ивашкою дерево, мурлычет да урчит, а щепы так и сыплется! Вот дерево уже маленько прихилилось, погнулось; вот трещит — а ведьма и вдвое ретивей принимается за дело; вот трещит, летит, летит... А Ивашка, удалой хлопец, сидит себе, да только, ухватив в руки по суку, находит да направляет, прицеливается... трещит, говорю, летит дерево, а Ивашко на лету прямо его направил ведьме в лоб: как хряпнет ее, так, слышь, перелобанил, что ниже ногой не дрыгнула: таки, как говорится, не успела и гроши отказать — тут и растянулась. Аминь тебе, поганая, цур тебе, пек тебе, толки воду на том свете, коли еще смилуются над тобою, да развози ее, прицепив бочку к хвосту да переступая с босой ноги на ногу по острым камням, по плитам чугунным каленым; а

свинец кипящий в глотку тебе, анафемская, коли хуже не будет; да купаться тебе по уши в смоле кипяченой, да рогати-нами железными тебя из котла доставать, да толкачами туда усаживать!

Теперь бы Ивашке нашему, поправившись и способившись с ведьмою, и байдуже, и нужды мало: так не знает дороги домой, да и далеко идти; шутка, заволокла куда, окаянная, что и свету белого оттоле не увидаешь. Ну, как быть? Ивашко взлез опять на дерево, на дубок, стал поглядывать кругом: летит стадо гусей. Пора была поздняя, осенняя, да и день уже вечерел, так перелетная птица вереницами торопилась до зимы да до ночи добраться восвояси. А почему они, скажите, путь-дорогу знают, какими приметам до мест отдаленных доходят, в осень туда, на весну опять сюда, да еще и на старое гнездо попадают, на дерево, на кочку в камыше, до которой, не заплутавшись, и человеку дважды не попасть!

— Возьмите меня с собою, — взмолился Ивашко, на гусей глядя, и запел им навстречу:

Гуси, гуси, лебедята!  
Возьміте мене на крилята,  
Понесіте мене до батенька,  
До родной моей до матеньки.  
А у батенька,  
А у матеньки  
Є що їсти, пити,  
Будуть мене любити.

А гуси ему отвечают: «Нехай, пусть, тебя задние возьмут!» Вздохнул Ивашко, сидит и ждет. Ведь не много и людей таких найдется, чтобы пособили в беде горемычному; а гусь — птица, из царствия скотины, не разумнее человека, а глуп, как и этот. Летят опять гуси; Ивашко взмолился им и руки было поднял, крепко низко летели — так та же песня, тот же ответ. Летит третье стадо; вожак, серый гусак, вытянув шею в струнку, отвечает Ивашке: «Нехай тебя гуска-кургузка возьмет». Оглянулся: летит отсталая гусочка-кургузочка, полхвоста вырвано: видно, лиса, не то волк от нее не за горой были, и низко летит, и вереницы своей не догонит, хвостом за нею следом не управит. Ивашко, сидя на сучку, запел встречную песенку:

Ой гусочко-  
Кургузочко,  
Усі мене покидають,  
Одні до других відсилають —  
А я хлопчик маленький,  
Далеко від матері родненькой.  
Ой гусочко-  
Кургузочко,  
Може, у тебе були гусенята,  
Озьми ж мене на крилята!

Гусочка-кургузочка, хоть и сама нездорова была, и сама через силу перемогалась — а таки взяла Ивашка, посадила на себя, принесла его домой и ссадила под оконцем родительской хаты. Так всегда на свете бывает: не подаст великий, не подаст богатый, не подаст и сильный и большой; а подаст убогий, что сам беду бедовал, что рыба об лед колотился, а может, и теперь еще порою поколачивается: он знает беду, не отринет мольбу.

А у Ивашкиной матери тем часом все поспело на поминки по сыну. Уже почитай и смерклось. Мать Ивашкина достала из печи вареное и печеное, позвала мужа, да и села с ним вдвоем поминать сына, и стала делить она пирожки: «Вот это тебе, — говорит, — вот это мне». — «А мне?» — спрашивает голос под окном. Мать оглянулась: «Кто там пищит?» Нет ответа. «Ну, дарма, давай делить блинцы — это тебе, это мне, это тебе, это мне». — «А мне?» — «Що за вража маты, що там пищит?» Нет ответа. «Ну, давай делиться буханцами». Опять то же, мать было встала, да и подала в оконце, за упокой сына, пирожок; так не берет нищий: пустите, говорит, в хату. Вышла мать за порог: «Маты божа и все святые и присно праведные! Да это наш Ивашко, сынок наш, глазок наш, око наше, сердце подреберное!» Что за радость, за веселье! И казак, даром что усами оброс, заплакал; одно то, что сын воротился, другое то, что извел он ведьму поганую, с семенем и насимьем, с родом и с племенем. Крик, шум, галас; сбежалася вся слобода; подняли крик по улицам: «Ивашко тут, Ивашко пришел!» И всяк, соскочив с печи, из проса, так босиком и дует до казака посмотреть на радость, на веселье!

— Ну, баба, — сказал казак, — теперь справляй пир на весь мир; что заработано в год, сыпь на стол в день! Руки здоровы, ноги целы; сыну мий, Ивашко, дома, а с ведьмы, с аспидской, может, уж давно черти лыки дерут; она не страшна боле, так господь благословит нас опять. А чумаковать пойду, возьму и сына с собою: пусть поживет, как люди живут, свету побачит; пусть порадуется простору нашему, погуляет; а там, коли богу угодно, жинка, как воротимся, справляй другой пир: соли привезу тебе задаром, а може, и рыбы; всю слободу накормим, чтоб знали и помнили казаченька Остапа Пушкаря!»

## ВЕДЬМА

Вперше надруковано в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», 1837, № 5. Підписано «Казак Луганский» (псевдонім В. І. Даля). Авторство Квітки встановлюється на підставі листа В. І. Даля до Г. Ф. Квітки від 1836 р., а також його примітки до цього твору у «Повестях, сказках и рассказах казака Луганского» (Спб., ч. 1, 1846, с. 454) — «Сказку эту прислал мне тоже казак, Грицько Основьяненко, коли знавали его».

Автограф невідомий.

Подається за першодруком.